МИРЫ Г. Л. ОЛДИ

ГЕНРИ ЛАЙОН

ОЛДИ

ПЕСНИ ПЕТЕРА СЬЛЯДЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФЭНТЕЗИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Идет по путям-дорогам лютнист Петер Сьлядек, раз за разом обреченный внимать случайным исповедям: пытаются переиграть судьбу разбойник, ученик мага и наивная девица, кружатся в безумном хороводе монах и судья, джинн назначает себя совестью ушлого купца, сын учителя фехтования путает слово и шпагу, железная рука рыцаря-колдуна ползет ночью в замковую часовню, несет ужас солдатам-наемникам неуловимый Аника-воин, и, наконец, игрок в сером предлагает Петеру сыграть в последнюю игру.

Великий дар – умение слушать.

Тяжкий крест – талант и дорога.

- Генри Лайон Олди
  - ○

Генри Лайон Олди
Баллада двойников

«Неисповедимость путей Господних дарует нам великое благо – благо сомнения. Ибо где нет сомнения, там нет и веры; где нет сомнения, там нет знания; где нет сомнения, там нет милосердия. Но все же: как славно было бы не испытывать этого мучительного чувства раздвоенности! Стоять легче, чем бежать, быть целым проще, нежели разбитым на осколки. Искренне надеюсь, что в размышлениях скромного монаха нет ничего еретического – и все-таки сомневаюсь, сомневаюсь…»

Из записей отца Ремедия, аббата монастыря бенедиктинцев близ Хольне

Каково в аду?
Посмотреть
Иду.

Ниру Бобовай

– Ой, пан шпильман таки не разумеет своего счастья!

– Простите, реб Элия…

– Что простите? Что простите, я вас спрашиваю? – тощий корчмарь, похожий на ржавую мартовскую тарань, всплеснул руками. Глазки его вылезли из орбит, рот раскрылся, еще более усиливая сходство с рыбой. – Чего мне вам прощать, пан шпильман?! Вы что, устроили *геволт* с погромом? Украли заветный талер моей бабушки Песи, чтоб ей жить до ста двадцати лет?! Ну, хотя бы до понедельника!

– Жить до понедельника? Вашей досточтимой бабушке?!

– Вам до понедельника! Вам, пан шпильман! Ой, он такой глупый, что совсем дурак…

– Мне надо идти, реб Элия.

Петер Сьлядек иногда сам удивлялся шилу в собственной, горячо любимой заднице. Казалось бы, вот оно, счастье! Кормят, поят… Просят играть! Умоляют! Чуть ли не в ножки падают! Нет, сволочное шило мешало усидеть на лавке. Надо идти, понимаешь, а куда идти, зачем идти – леший его маме надвое сказал!

Увы, бродяга знал: начни спорить с шилом – только хуже будет.

– Ему надо! Ой, ему надо! Старый Элия говорит: *швайк*, горлопан! Сиди в тепле, грей *тухес*! Кушай щуку с бураком! Редьку с куриными шкварками! Спи на перине! Ярмарки кругом, мужики пьяные, мужики довольные – дай *ашикерам* толстый кусок счастья! Станут плясать, станут слушать, грошей кинут! С дударем я уже сговорился…

Левой рукой корчмарь задел связку ядреных, густо-золотых луковиц, висевших у двери. Связка с грохотом рухнула на пол. Две головки оторвались, заскакали в углы.

– Не обижайтесь, реб Элия…

На четверть авраамит по матери, Петер Сьлядек достаточно знал местечковый жаргон, чтоб не нуждаться в услугах переводчика. И хорошо понимал дударя, местного пропойцу Матиуша Гюлля, с радостью согласившегося дудеть в корчме хоть до конца света, не то что до конца ярмарок. Вчера, когда толпа исплясала все ноги, не шибко вслушиваясь в игру музыкантов, когда баллады кончились, и танцы кончились, и лэ, и рондо, и овензек, и потешные куплеты, и смех, и слезы, и хмельной гогот, и визг девиц в платьях с брыжжами у шеи, в парчовых фартучках с розами и васильками, в нюрнбергских лентах, и лишь пальцы обжигались о струны, а дудка, припав к вывороченным губам пропойцы, высасывала человеческое дыхание – о, вчера было таким ошеломительно прекрасным, что даже сытный завтрак и обильный заработок были бессильны сделать нынешнее утро лучше канувшей в небытие ночи! Но шило, чтоб ему пусто! Шило…

Иногда Петеру казалось: обмани он треклятое шило, остановись, задержись на одном месте хотя бы месяц-другой – и бродяга станет домоседом. Перестанет искать вчера и завтра. Увязнет, как в трясине, в неколебимом сегодня.

Изменится – что означает «изменит себя».

Или «изменит себе»?!

Зимой, околачиваясь в хенингском порту, слышал от моряков: есть такие рыбы, которые тонут. Хвост, жабры, чешуя, а вот поди ж ты! Если не плавают – идут на дно. Камнем. Врут моряки, должно быть. Свою судьбу тайком оправдывают. Вон,

Элия тоже обличьем вроде рыбы. А ни шила ему, ни дна.

Загребает плавниками: корчма да корчма.

Аж завидки берут.

– Ой, пан шпильман!.. все у него *бекицер*, все пополам…

Обиженно ворча, корчмарь пошел прочь, часто оглядываясь. Видимо, не оставлял надежды уговорить «пана шпильмана» остаться. Петер и сам был бы рад. Последние два года выпали тяжкими, как град на ниву ячменя. Дорога на Вроцлав, будь она неладна, житье впроголодь, столичные скареды, жалевшие грошика для услады ушей, дурная попытка проселками добраться до Раховца, потом до Орзмунда, ссора с подвыпившими коробейниками, расторговавшимися без барыша и оттого злыми, как черти – спасибо доброй бабе из Рыцерки, дала отлежаться в хате! – все это утомило донельзя.

Может, согласиться?

Пиво, щука с бураком… Знай, бренчи себе плясовые! А для многолюдной семьи реба Элии в шаббат: "Шум веселый нам ласкает ухо! – в гости к нам собралась вся *мишпуха*…" Или лучше: «А когда наш дядя Эля ощутил в душе веселье…»

– Вы намерены идти в Хольне, сын мой?

Вздрогнув, Петер обернулся. Монах-бенедиктинец, оседлав табурет у лестницы, ведущей на второй этаж, смотрел на бродягу без особого интереса. Скучно смотрел, тускло. Правда, оставалось неясным: зачем тогда вообще задал вопрос? Монахов вчера было двое: приехали на мулах, попросились на ночлег. Пьяная толпа не смутила святых отцов – съели по миске пшенки, слегка заправленной смальцем, просушили рясы у огонька, да и отправились наверх: спать. Старший из них, седенький аббатик, еще одобрительно кивнул, когда Петер вослед завел жалостную «Господь – моя опора!» Зато второй монах, грузный, похожий на медведя мужчина лет пятидесяти, с самого начала привлек внимание певца. Малоподвижным лицом, скованными, осторожными движениями – словно заново привыкал к телу. Так бывает после тяжелой болезни. Над пшенкой горбился, долго нюхал, прикрыв глаза. Каждую ложку отправлял в рот с опаской, тщательно разжевывая, и казалось, что он ожидает от каши чего-то своего, странного, получая взамен неожиданную сладость. Дважды, слушая потешные куплеты, бенедиктинец улыбался – краешком губ, еле-еле, но не из-за сдержанности, приличествующей духовному пастырю, а из-за тайного подозрения: вдруг улыбка не сложится?

Монах напоминал деревянного идола, голема, ожившего по воле Божьей и теперь все испытывавшего заново. Улыбку, походку, кашу…

– Д-да… Наверное, в Хольне.

– Мы с отцом Ремедием тоже направляемся в Хольне. Скажите, сын мой…

Обращение «сын мой» давалось монаху с трудом. Возможно, не так давно отринул светскую жизнь, ушел от мира в обитель – вот и не привык.

– Я слушаю вас, святой отец.

Петер ожидал чего угодно. Кроме тихой просьбы:

– Вы вчера пели «Балладу двойников». Я никогда раньше не слышал ее. Это ваше сочинение?

– Да, святой отец. Молю о снисхождении, если моя скромная баллада чем-то оскорбила…

Последнюю фразу Петер подхватил, как дурную болезнь, у известного менестреля Томаса Любезника, однажды встретив последнего в Дамме. Только Любезник произносил «Молю о снисхождении…» нагловато, подбоченясь и крутя завитой ус, а у Петера Сьлядека выходило наоборот: просительно, чуть ли не заискивающе. Вот и повторял к месту и не к месту – хотел научиться, как Томас.

Пока не получалось.

– Ничуть. Дело в другом. Согласитесь ли вы исполнить ее еще раз? Для меня?

– Сейчас?

– Да. У меня нечем заплатить вам, но…

– Что вы, святой отец! Почту великой честью…

Беря в руки лютню, Петер Сьлядек терзался догадками: чем могла сугубо светская «Баллада двойников» заинтересовать и даже взволновать отрешенного бенедиктинца? В пустой корчме струны звучали гулко, с удивительной силой, и сорванное вчера горло служило легко и послушно, как верный пес. К первому припеву удалось даже нащупать более точные интонации, ранее ускользавшие от внимания. Да, именно так, с нажимом в начале:

– …левая рука – правою,
Ложь у двойника – правдою,
Исключенье – правилом,
Лакомство – отравою.
Огорчаю?
Нет! —
радую…

Монах слушал, весь подавшись вперед, грозя опрокинуть шаткий табурет. Выбритая на макушке тонзура налилась кровью, будто святой отец держал на плечах мешок с булыжниками. Возле

правого глаза билась жилка – синяя, толстая. В сочетании с мертвым, напрягшимся лицом это выглядело страшно. Но остановиться Петер уже не мог.

– …правая рука – левою,
Шлюха станет королевою.
Трясогузка – лебедью,
Бедность – нивой хлебною.
Отступаю?
Нет! —
следую…

Когда отзвучал заключительный аккорд, монах долго молчал.

– Благодарю вас, – наконец сказал он, глядя в скобленый, яично-желтый пол. – Вы дали больше, чем я просил. Нищий странник, оказывается, способен видеть глубже и яснее, чем многие его коллеги по цеху, раздобревшие на лести и низкопоклонстве. Спасибо.

Петер моргнул, не зная, что ответить. Вежливость, можно сказать, изысканность речи бенедиктинца смущала, приводя в недоумение.

– Как я уже говорил, мне нечем заплатить. Я бедный инок. Даже мул, на котором я еду, принадлежит обители. Но если вы, в обмен на ваше искусство, согласитесь выслушать от меня одну забавную историю…

Снова полуулыбка: чудная, болезненная.

Ущербная.

Спина монаха выпрямилась, в осанке неожиданно мелькнуло что-то солдатское.

– Я кажусь вам безумцем, сын мой?

– Нет… Ни капельки, святой отец!

– Вам следует научиться лгать, сын мой. Впрочем, неважно.

Прежде, чем заговорить дальше, он опять долго молчал. Дольше, чем в первый раз.

* * *

Монах смотрел на стены города. Снизу вверх. Как раньше, шесть лет назад. Он не любил об этом вспоминать, но память – пес-упрямец, плохо обученный беспрекословному подчинению. Серая громада в три человеческих роста. Камни грубо обтесаны. В щелях топорщатся бурые космы лишайника. За годы ничего не изменилось. Помнится, в прошлый раз ему недолго довелось

любоваться стенами Хольне снаружи.

Сегодня монах тоже не собирался задерживаться.

Стражники в воротах окинули его равнодушным взглядом: пошлины с духовного сословия брать запрещено, а на переодетого вора монах походил меньше всего. Лишь самый молоденький, в нелепом и явно великоватом ему шлеме-шишаке, внезапно сорвался с места. Гремя ржавой жестью лат «на вырост», бухнулся на колени, уронив рядом алебарду:

– Благословите, отче!

Губы монаха тронула едва заметная улыбка. Рука поднялась в крестном знамении.

– Благословляю тебя, сын мой.

Конечно, следовало бы произнести это по-латыни, но в последнее время монах сердцем чувствовал, когда уместно высокое наречие, а когда лучше обратиться к человеку на его родном языке. Главное, чтобы слова твои нашли отклик в чужой душе. А на каком языке они произнесены – так ли это важно, как полагают многие ученые отцы церкви?

Кроме того, он плохо знал латынь.

– Встань, сын мой. И оружие подбери: первый солдатский грех – снаряженье ронять. Ишь, ржавчина! Будь я твоим начальником, накушался бы ты плетей…

Город монах знал плохо. И потому, обождав, пока юнец, в смущении дергая себя за жидкую бороденку, поднимется с колен, осведомился:

– Кстати, не подскажешь ли: где тут у вас городская тюрьма?

Краснолицый усач-капитан, щурясь, разглядывал гостя. Словно из арбалета целился. Наверняка внешность капитана многих вводила в заблуждение: ни дать ни взять, сытый котяра, лентяй, отъевшийся на хозяйской сметане. Морда поперек себя шире, лоснится вся, мало что не треснет; усы щеткой, глазки масляные… Лишь цепкий прищур выдавал в вояке ту еще хватку. Не даром казенные харчи наворачивает да жалованье от магистрата получает, ох, не даром!

У монаха на таких усачей глаз был наметанный.

– Его честь сейчас в пыточной, на допросе. Обожди здесь, святой отец, отдохни с дороги. Может, винца?

Монах отрицательно покачал головой. Откуда-то из глубины здания донесся приглушенный вопль. Капитан, отвернувший было голову, с любопытством покосился на бенедиктинца: не побледнеет ли святой отец, не сморщится ли, как от зубной боли? Иной, бывало, в обморок падал…

Однако лицо монаха осталось бесстрастным.

– А скажи-ка мне, отче, что у тебя за дело к господину главному судье?

Капитану было скучно. Капитану хотелось поговорить. А тут новый человек, и не проситель какой-нибудь…

Монах молча смотрел на собеседника.

Поначалу усач спокойно выдерживал этот взгляд, но мало-помалу странное желание начало пробуждаться в вояке. Сперва он даже не понял, но вскоре ощутил со всей ясностью: хочется выкатить грудь колесом и подобрать живот.

Еще хотелось начистить кирасу мелом.

– Меня направил в Хольне отец Ремедий, аббат монастыря Трех Святых. Нам принесли скорбную весть о том, что брат Амбросий, исполнявший обязанности духовника при городской тюрьме, скончался, и магистрат просит прислать ему замену.

– А-а, так вы, святой отец, наш новый Черный Духовник? – расплылся в ухмылке капитан.

Монах едва заметно поморщился. Прозвище казенных исповедников резануло слух. Впрочем, ничего не попишешь, придется терпеть. Снизу, сквозь толщу камня, вновь пробился слабый вой, похожий на волчий, но теперь капитан не стал вглядываться в бенедиктинца.

– Можно сказать и так. Хотя это не самое лучшее название для должности, которую занимал покойный брат Амбросий.

Сказано было очень мягко, без малейшей злости или раздражения, однако усач смутился, затоптался на месте. Бормотнул скороговоркой:

– Хороший был человек отец Амбросий, царствие ему небесное. Видать, время его пришло. Дряхлый он был – нам бы до таких лет дожить… Что ж, давайте знакомиться. Нам теперь часто видеться придется. Лайош Зиммель, капитан тюремной стражи.

– Отец Игнатий, скромный инок братства Святого Бенедикта. Вы не знаете, скоро ли освободится судья Лангбард?

Капитан Зиммель прислушался.

– Да, вроде, закончили. Сейчас и поднимется.

Словно в подтверждение, где-то рядом громыхнула дверь, и вскоре в комнату вошел дородный мужчина лет сорока. Камзол темно-синего атласа, штаны из отлично выделанной тонкой кожи. Грудь украшала серебряная цепь с образком Св. Лаврентия – отличительный знак судьи в вольном городе Хольне. На чуть оплывших щеках вошедшего медленно гас пунцовый румянец, свойственный скорее больным чахоткой, нежели полнокровным здоровякам. Глаза из-под густых бровей остро блеснули при виде монаха. За мужчиной в комнату проник легкий запах пота и гари, исходивший явно не от самого судьи.

– Уже завершили, ваша честь? – поспешил шагнуть навстречу капитан Зиммель. – А вас тут святой отец дожидается. Новый Черный… новый казенный духовник. Из обители прислали.

– Рад, искренне рад вам, отец…

– Игнатий.

– …отец Игнатий. Жодем Лангбард, глава судейской коллегии, – судья с достоинством поклонился. – Нас еще вчера известили о вашем скором прибытии. Дом готов, кухарка и прислуга ждут. Я выделю вам провожатого, а к восьми часам вечера приглашаю отужинать у меня. Дела обождут до завтра, сегодня же я хотел бы видеть вас своим гостем. Мой дом на Ратушной площади, любой в городе вам его покажет. Сейчас прошу извинить, мне надо переодеться. Скоро начнется заседание магистрата. Но к ужину я вернусь домой.

– Благодарю, ваша честь, – монах поклонился в ответ, сложив руки на груди. – С удовольствием приду. Поста сейчас нет, так что…

И бенедиктинец неожиданно подмигнул судье. С лукавством, как старому приятелю. Он сам не знал, что на него нашло: просто понравился этот человек.

С первого взгляда.

Петляя по извилистым улочкам Хольне вслед за писцом-провожатым, отец Игнатий перебирал в памяти все, что слышал от аббата о судье Лангбарде. Одновременно монах не забывал оглядываться по сторонам, запоминая дорогу, – привычка, выработавшаяся с давних пор, когда он жил в миру.

Жодем Лангбард, глава судейской коллегии, слыл человеком суровым и неподкупным. Быть может, даже излишне суровым; однако, по мнению бенедиктинца, лишняя строгость еще ни одному судье не вредила. Скорее наоборот. Покойный духовник, отец Амбросий, по словам аббата, также отзывался о судье со всяческим уважением. Однако все это никоим образом не объясняло мгновенной симпатии, которой отец Игнатий проникся к Лангбарду. Ему определенно был по душе этот человек: правильная, слегка вычурная речь, манера держаться, спокойная уверенность в себе – и легкий налет одержимости, почудившийся монаху во взгляде главного судьи.

«А ведь мы изрядно похожи! Оба крепкие, чуть грузноватые, одинакового роста. Обоим слегка за сорок, и дело у нас теперь будет, считай, общее…»

– Вот мы и пришли, святой отец. Сюда, пожалуйста. Это казенное здание, раньше здесь жил отец Амбросий. Извините, мне пора обратно…

Писец мигом исчез за ближайшим углом, и монах остался один у входа в маленький опрятный домик. Двускатная, крытая блестящей черепицей, крыша. Узкие застекленные окна по обе стороны высокой двери, к которой вели три ступеньки из вытертого до блеска камня. В конце переулка за домами виднелась городская стена – жилище тюремному духовнику магистрат выделил на окраине. Впрочем, отец Игнатий отнюдь не стремился к избытку шума и общения.

Дверь открылась с назойливым скрипом, и монах поморщился: еще с той, прошлой жизни не любил говорливых дверей. Надо будет добыть масла, смазать петли.

Внутри царил густой, вкусный запах готовящейся стряпни. Тянуло из кухни, расположенной справа от входа. Однако туда монах решил заглянуть в последнюю очередь. Так, что у нас здесь? Две смежные комнаты, крохотные и аккуратные; кровать из дерева, стол, пара табуретов, полка с книгами. На столе – бронзовая чернильница, подставка с очиненными перьями. Подсвечник. В углу – распятие с горящей под ним лампадой. Раздолье по сравнению с нищетой монастырской кельи.

Что еще? Кладовка. Каморка для прислуги.

Кухня.

– Здоровы будьте, святой отец! А мы уж вас заждались! Сейчас, сейчас, я на стол подам… Вам у нас понравится, клянусь муками Господними, непременно понравится! Вон, отец Амбросий, царствие ему небесное, чистому сердечку, сколько лет прожил – ни разу не жаловался! Клара с Гертрудой свою службу знают: стряпня, постирушки, уборка… Клара – это я, святой отец. Я и есть. А Гертруда – дочка моя, звездочка…

– Отец Игнатий, – успел представиться монах, сбитый с толку этим словоизвержением, и его вновь накрыл поток речей кухарки Клары. Объявившаяся вскоре Гертруда оказалась тихой светловолосой девицей в сереньком платье. Дурнушка, похожая больше всего на испуганную мышку, она являла собой полную противоположность родной мамаше, – завидные телеса Клары едва помещались в тесноте кухоньки. Зато стряпала Клара отменно: действительно, грех жаловаться. Вскоре отец Игнатий с трудом отказался от добавки бобов с подливой, жареным луком и шкварками. Предстоял ужин у судьи, а после Клариного изобилия он бы наверняка обидел Жодема Лангбарда полным отсутствием аппетита.

Наконец мамаша с дочкой ушли, дав монаху вздохнуть спокойно: чтобы долго выносить болтовню Клары, надо быть святым. Интересно, как ее муж терпит? Время до визита к судье еще оставалось. Можно было даже прилечь вздремнуть. Однако

вместо отдыха отец Игнатий опустился на колени перед распятием. Слова молитвы пришли сразу. Он молился не по канонам, не заученно-уставными фразами, погребенными в книжных переплетах, – нет, его молитва шла от сердца. Искренне. Оттаивала душа, бежало прочь все наносное и лишнее – раздражение, дрязги, усталость, мелкие мирские заботы, сменяясь покоем и тихим светом радости.

Монах говорил с Небом.

И Небо – отвечало.

…откуда взялся этот человек? Словно вырос из булыжника мостовой, соткался из вечерних сумерек. Отец Игнатий остановился, как вкопанный, с острой тревогой ощутив: прошлая жизнь очнулась, заполнив тело целиком. Душа была спокойна, сердце лишь чуть-чуть ускорило бег, чтобы сразу вернуться к обычному ритму, а тело уже готово действовать: шаг в сторону, нырок под возможный удар палкой в голову, а если снизу ножом, то перехватить запястье и…

Бичевание и посты помогали мало. Тело так и не научилось забывать.

– Не бойтесь меня, святой отец.

– Я плохо умею бояться, сын мой. И вряд ли вам удастся научить меня этому искусству.

– Жаль, – задумчиво протянул незнакомец.

Только сейчас монах разглядел, что человек, преградивший дорогу, достаточно молод. Тридцать? Или даже меньше? Строгий костюм цвета корицы, пристальный взгляд и осанка, излучавшая достоинство, делали его старше. Плащ, развевающийся, хотя никакого ветра не было и в помине. Правая рука сжимает палку… короткий посох с резным набалдашником.

Посох?!

– Вы наблюдательны, святой отец. Не как служитель церкви; скорее как солдат, – в сухом, вежливом голосе отсутствовала ирония. – Разрешите представиться: Марцин Облаз, более известный горожанам как Марцин Подкидыш. Маг вольного города Хольне, ученик Бьярна Задумчивого. И мне очень жаль, что вы не умеете бояться. Так будет куда труднее…

– Куда труднее – что?

– Уговорить вас без промедления покинуть Хольне.

Отец Игнатий улыбнулся. Эта странная беседа начинала ему нравиться. Самим безумием своим, бессмысленностью. Перед сном будет, что вспомнить. А завтра с утра – забыть.

– Это невозможно, сын мой.

– Вот я и говорю: жаль. Еще минуту назад я надеялся. Тогда

попробуйте хотя бы как можно реже встречаться с судьей Лангбардом. Лучше, конечно, не встречаться вовсе. Поверьте, я знаю, что говорю.

– Увы, сын мой. Как тюремный духовник… В конце концов, как гость, приглашенный радушным хозяином на ужин!..

– Вы играете с огнем, святой отец. Символ *фюльгья*– заседланный волк, и змеи служат ему удилами.

– Господь – моя опора и защита. Быть суеверным – грех, сын мой.

Но слово «фюльгья», незнакомое и неприятное, эхом звучало в ушах.

– Хорошо, – Марцин облизал губы, как если бы рот его внезапно пересох. – Оставим суеверия в покое. Просто… Когда научитесь бояться, святой отец, найдите меня. Спросите любого, вам покажут.

Куда исчез маг, отец Игнатий тоже опоздал заметить.

Наверное, очень быстро шагнул в переулок: тени, ранние сумерки…

– Прошу, святой отец. Господин Лангбард ждет вас.

Как и обещал судья Жодем, дорогу к его дому бенедиктинцу показал первый горожанин, которого монах спросил об этом. Более того, вызвался проводить до крыльца. Так что, когда часы на городской ратуше били восемь вечера, отец Игнатий стучал дубовым молотком, подвешенным на цепочке, в нужную дверь.

Над входом был предусмотрительно зажжен наружный фонарь.

Вышколенный слуга в ливрее проводил гостя на второй этаж. Судья жил богато: мрамор лестницы застелен ковром из далекой, почти сказочной Зазаманки, на стенах – барельефы с изображением сцен охоты и грешных амурчиков, фламандские гобелены в простенках; литые шандалы-пятисвечники ярко освещали все это, быть может, излишне показное великолепие. Видно, родитель Жодема был обеспеченным человеком: на жалованье главного судьи, хоть оно и высокое, такого дома не выстроишь.

– Вы пунктуальны, как часы нюренбергца Петера Хейнлейна, святой отец! Прекрасно! Уважаю точность. И в особенности – точных людей. Садитесь за стол, прошу вас.

«Кажется, его честь успел хлебнуть вина,» – отметил отец Игнатий, благодаря и усаживаясь напротив судьи. За столом они были вдвоем. Поняв, что больше к ним никто не присоединится, бенедиктинец прочел короткую молитву, благословляя посланную Господом пищу, и гость с хозяином приступили к

трапезе.

Окинув взглядом стол, монах сразу дал себе зарок: не чревоугодничать сверх меры! Ибо, озирая пирог с гусиной печенью, бараний бок, запеченный с черемшой, судака, фаршированного по-авраамитски, медовые коврижки и три сорта отличного вина – трудно удержаться от греха! А надо сказать, что при всех своих несомненных достоинствах, отец Игнатий отнюдь не был аскетом, предпочитающим сухие акриды столу, уставленному яствами. Посему изо всех сил боролся с искусом: ел степенно, маленькими кусочками, и вино прихлебывал без усердия, ибо пьяный монах – зрелище не из благонравных.

Впрочем, захмелеть он опасался и по другой причине. Прошлая жизнь, едва хмель ослаблял путы, норовила прорваться наружу в грубости речи и дурных манерах.

– Я рад, что обитель Трех Святых столь быстро откликнулась на просьбу магистрата. Вам понравилось ваше новое жилище, святой отец? Прислуга? Может, вы испытываете потребность в чем-то? В пище духовной, к примеру?

– Благодарю, ваша честь…

– Полно, святой отец! Мы ведь не в присутственном месте. А я сразу подметил: вам скверно дается обращение «сын мой». Если угодно, зовите меня просто: Жодем. Особенно с глазу на глаз.

– Вы очень любезны, мейстер Жодем. В обители я привык к скромной келье, так что новое жилье в сравненьи с ней – роскошное поместье. («А болтливую кухарку Господь, наверное, послал мне во испытание,» – подумал монах про себя.) Но вы угадали мое стремленье к пище духовной. Признаюсь, что к стыду своему плохо знаю латынь, да и с книгами никогда не был накоротке. Я ушел от мира семь лет назад, а прежде – поверите ли, крестом подписывался! Согласись вы снабдить меня…

– Не извольте беспокоиться, отец Игнатий! Вся моя библиотека к вашим услугам – а это, поверьте, весьма обширное угодье. Более того, если будет на то ваше желание, я готов помочь вам усовершенствовать познания в латыни. Ибо скажу без ложной скромности, что владею сим благородным наречием весьма недурно, закончив факультет права Пражского университета и факультет богословия в Гейдельберге, – низкий голос Лангбарда наполнился гордостью. – И не надо благодарить! Разве помощь ближнему, а тем паче духовному пастырю, не есть первейший долг истинного христианина? Однако, заранее прошу простить мне, быть может, бестактный вопрос… Кем вы были до того, как посвятить жизнь служению Господу, отец Игнатий?

Бенедиктинец не слишком любил вспоминать прошлое. Как правило, он уходил от ответов на подобные вопросы. Но сейчас

тихое умиротворение снизошло на монаха. За окном трепетала удивительно ясная ночь, напротив сидел хороший человек, сразу проявивший живой интерес и готовность помочь во всем; человек, от которого не имело смысла ничего скрывать, которому – монах был в этом уверен! – можно открыть душу. Отцу Игнатию действительно хотелось быть искренним и откровенным с судьей. Сейчас, в присутствии Жодема Лангбарда, воспоминания о прошлой жизни не вызывали в сердце болезненного отклика, как это случалось обычно.

Слова дались легко.

– Прежде, чем стать монахом, я был солдатом. Наемником. Дослужился до капитана. Я был хорошим солдатом, уж поверьте. И неплохим капитаном. Мой отряд отрабатывал двойное жалованье с лихвой. Но однажды я получил знак. Знамение.

Отец Игнатий умолк, отхлебнул вина из кубка. Судья не торопил продолжать, и монах был благодарен хозяину. Этот человек понимал его! Понимал, как, может быть, понимал лишь аббат Ремедий, некогда приютивший капитана Альберта Скулле, убитого в сражении при Особлоге…

– Думаю, потому наш аббат и отправил в Хольне меня, – проговорил наконец бенедиктинец, все еще собираясь с духом. – Я привык к виду крови и людских страданий. Я не побледнею, услышав крик пытуемого, и не грохнусь в обморок, если доведется присутствовать при допросе или казни. Смерть часто проходила рядом со мной, задевая краем савана. Я знаю исходящий от нее холод и запах тления. Вернее, думал, что знаю…

Капитан Альберт Скулле не предполагал, что эта война станет для него последней. Все шло хорошо. Войска маркграфа Зигфрида, к которым его отряд примкнул накануне взятия Хольне, уверенно продвигались вглубь Ополья, не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления. В кошелях наемников звякал щедрый улов, удача улыбалась смелым, и никто еще не замечал в ее улыбке оскала Костлявой.

Битва при Особлоге.

Неожиданная, нелепая смерть маркграфа. Растерянность.

Бегство.

Альберт и его люди не умели бежать. Они отступали. Надеясь пробиться, уйти лесом, а там… Не вышло. Налетели, окружили. Дрались с остервенением, насмерть, самозабвенно продавая жизнь по самой высокой цене. Палаш капитана покраснел от крови, глаза заливал пот и струи ливня. Когда страшный удар копья пробил латы на боку, он в первый миг, в горячке боя, не ощутил боли и,

кажется, даже успел достать клинком своего убийцу. Потом падал: долго, очень долго. Целую вечность. Ему чудилось: он дерется, кричит, приказывает, лес рядом, рукой подать…

Превратившись в землю, лес-оборотень наотмашь ударил в затылок – но вместо страха пришел покой. Лязг оружия звучал погребальным звоном, вокруг клубился туман, похожий на саван, а когда он расступился – Альберт увидел странную процессию. Раздвигая седые пряди, из мглы одна за другой выходили совершенно невозможные пары, порожденья горячечного бреда. Жуткие твари шествовали рука об руку с ангелами в снежно-белых одеяниях, олени с рыбьими хвостами обнимали за талию нагих красавиц, клыкастый заяц ласково вел невинного мальчика.

Все шли попарно: справа – люди, слева – чудовища.

Бал контрастов.

Казалось, прекрасные существа не замечают уродства своих спутников: тонкие пальцы ласкали свалявшуюся в колтун шерсть, нежное плечо приникало к гнойникам, жабий рот, трепеща языком-удавкой, сливался в поцелуе с рубиновыми устами, чудная ножка соседствовала с перепончатой лапой, а лик святого – со свиным рылом или птичьим клювом. Пары шли, непринужденно беседуя и улыбаясь друг другу, поддерживая собеседника под локоть, дабы тот не поскользнулся на раскисшей от дождя земле. Дикая смесь запахов: пот и ладан, вонь отхожей ямы и благоуханье розария; небесный хор сплетался с дьявольским хохотом, а пенье свирели – с карканьем ворон. Идущие были увлечены разговором (хотя Альберт тщетно пытался уразуметь, о чем они говорят!..) и не обращали никакого внимания на умирающего наемника. Из тумана рождались все новые и новые пары, и наконец Скулле заметил, что процессия постепенно сворачивает, замыкаясь в кольцо, в безумный хоровод, а он лежит в самом центре. Внутренний круг образовывали милые юноши и девицы, скрывая собой внешний круг чудовищ, и внезапно на капитана снизошло озарение. Семь смертных грехов и семь добродетелей окружали его! Только было их не семь – семижды семь, и еще семь раз по семь, и еще, и снова, и опять…

Это был знак, знамение свыше! Ведь недаром добродетели обратились к нему лицом, заслонив мерзость греха! Значит, не все потеряно; значит, еще есть возможность встать на верный путь – и случись чудо, даруя грешнику второй шанс…

Виденье меркло.

Отовсюду наваливалась жаркая, душная тьма.

– …Я выжил действительно чудом.

В горле пересохло, и отец Игнатий надолго припал к кубку с

вином. Кадык на жилистой шее судорожно дергался.

– Меня подобрал один селянин, из местных, благослови его Господь. Мир не без добрых людей. Выходил, отпоил молоком и травами. Но на ноги я встал другим человеком. Альберт Скулле, бесшабашный убийца, умер там, на поле. Я отдал спасителю все, что у меня было, и явился в обитель Трех Святых. Теперь я – брат Игнатий. До конца моих дней.

Бывший наемник взглянул на судью и обнаружил, что тот буквально застыл, слушая его рассказ, превратился в безмолвную статую и, кажется, даже дышит через раз.

– Что с вами, мейстер Жодем? Вам плохо?

– Нет-нет! Мне… мне хорошо! – судья с явным усилием разорвал кандалы оцепенения и тоже потянулся к кубку.

– Может быть, вам лучше больше не пить?

– Оставьте, отец Игнатий! Каюсь, иногда я действительно перебираю лишнего – но не сейчас. Просто меня чрезвычайно впечатлила ваша повесть! Дело в том, что лет семь назад со мной произошла очень похожая история. Я свалился в горячке, лекаря не надеялись, что выживу. Плохо помню дни болезни: бред, кошмары, редкие обрывки яви… Но одно виденье запомнилось очень ясно. И оно почти в точности повторяет ваше знамение! Разве что финал – внутри хоровода, кружащегося вокруг меня, оказались не добродетели в белых одеждах, а мерзкие воплощенья грехов, которых вы столь живо описали! От их смрада я буквально задыхался, кольцо дьявольских морд сводило меня с ума. В тот миг я всем сердцем желал умереть, но освободиться. И в итоге очнулся, вопреки ожиданиям лекарей пойдя на поправку. Через месяц меня выбрали городским судьей – тогда еще не главным…

– Действительно, странное совпадение, – развел руками монах. – Полагаю, Господь таким образом подсказал вам ваше призвание: бороться со злом и стоять на страже закона?

Жодем Лангбард скупо улыбнулся:

– Вы весьма проницательны, святой отец. Именно так и случилось, хотя я не думал об этом. Но сейчас, сравнивая наши видения… Рад, душевно рад, что мы будем работать вместе. Столь удивительное совпадение не может быть случайностью!

– Согласен, мейстер Жодем. И я тоже рад, что нам довелось встретиться. Я слышал о вас много хорошего. Но мы засиделись, а я привык вставать рано. Благодарю за гостеприимство и увлекательную беседу.

– Не смею вас задерживать, святой отец, – в ответе главного судьи мелькнули нотки сожаления. – Однако я обещал помочь вам с пищей духовной. Надеюсь, вы не откажетесь проследовать в

мою библиотеку и выбрать томик-другой для чтения?

– Вы так добры… Разумеется, я следую за вами! Кстати, осмелюсь в свою очередь задать нескромный вопрос: а где ваша досточтимая супруга? Почему она не ужинала вместе с нами?

– Белинда умерла четыре года назад, – глухо, но отчетливо произнес главный судья. Голос его стал бесцветным, кровь отхлынула от щек.

– Простите, я не знал…

Судья в ответ только махнул рукой (пустое, мол, забыли!) – и, взяв подсвечник, двинулся вперед, показывая дорогу. Со спины мейстер Жодем неожиданно показался монаху дряхлым стариком. Ссутулившимся, больным, глубоко несчастным человеком.

– Ох, и ранняя вы пташка, святой отец! Вчера, видела, отправились куда-то на ночь глядя, а сегодня, ни свет ни заря – уже на ногах. Это вы по монастырскому обычаю, или как?

– В обители братия встает рано, – на самом деле отец Игнатий еще пребывал в дреме, и потому плохо шевелил языком. – Да и от мейстера Жодема я вчера вернулся не слишком поздно…

Соображай монах спросонья хоть чуточку лучше, он, конечно, не стал бы ничего пояснять любопытной кухарке, прекрасно понимая, что любая опрометчивая попытка поддержать разговор мигом вызовет новый приступ красноречия Клары.

Так оно и оказалось. Однако на сей раз, как ни странно, отец Игнатий слушал Клару с интересом:

– Золотой человек господин Лангбард, верно говорю, золотой! Натерпелся в свое время – злейшему врагу не пожелаю! Когда майнцы в Хольне вошли, они с невестой его, дочкой бургомистра нашего, такую беду сотворили, не приведи Господь! А поди вступись, замолви словечко, – порубят ведь, ироды! Сам бургомистр на коленях ползал, большой выкуп сулил, лишь бы смилостивились над бедняжкой… Белиндочка, душенька, после того умом тронулась. А господина Лангбарда горячка свалила. Думали: не жилец. Только встал он, и на Белинде женился, как обещал, хоть она уже и родного отца не узнавала-то! Честней господина Лангбарда поискать! Даром, что ли, воры-грабители, а пуще всего насильники окаянные, его, как огня, боятся! Когда Белиндочка года через три зачахла, горевал он сильно. Пить взялся… А не спился вконец, ровно забулдыга какой! Бургомистр наш уважает его очень, души не чает. Если что – горой за зятя. Да и как иначе? С правильным человеком вы дружбу свели, отец Игнатий: с душегубцами лют, со своими – душевный, ласковый, таких поискать…

– Спасибо, Клара, – монах был совершенно искренен. – Вы правы: судья Лангбард – действительно очень хороший человек. Я сразу это почувствовал. А теперь мне надо идти.

– …Господь милостив, сын мой.

– Отец! Отец мой! Скажите ему: пусть больше не велит жечь мне ноги!

– Судье Лангбарду?

– Да! Да! Я покаялся! Я…

– Мне понятны твои страдания, сын мой. Но ты кричишь: я! я!!! Задумайся, кто ты есть: бесчестный дезертир, волей судьбы угодивший в дурную компанию. Вы грабили, насиловали, вы убивали, смеясь. Да, Господь милостив – но люди злопамятны, сын мой, и у них есть на то веские основания…

– Но я сознался!

– Ты сознался. Это правда. И я принял твою исповедь. А теперь войди в положение судьи: твои сообщники бродят на свободе, и ты отказываешься назвать их имена, указать место обитания. Скрепя сердце, господин Лангбард вынужден отдавать приказы палачу – во имя спокойствия честных людей.

– Нет! Отец, ему просто нравится жечь мне ноги!

– Не говори глупостей, сын мой. Выдай сообщников, и сам увидишь: пытки прекратятся.

– Я не могу! Я не стану предателем!

– Да, предательство – подлость. Но так ли подло отдать убийц и насильников в руки правосудия?

– Отец Игнатий, пора, – вмешался тюремщик Клаас, отпирая двери снаружи.

– Нет! Не оставляйте меня! Когда я говорю с вами, святой отец, я чувствую, как остывают сковородки пекла…

«Глупый, несчастный мальчишка, – думал монах, ожидая в коридоре, пока Клаас запрет темницу. – За две монеты и кружку вина подписался у вербовщика, в первом же бою струсил, бежал, угодил в шайку головорезов… Хотя, скажи я родичам его жертв, что этот бедолага достоин сострадания, – боюсь, меня неправильно бы поняли. Надо будет обратиться к Лангбарду с ходатайством…»

Долгий, протяжный вопль заметался по коридорам. Вскипел булькающей пеной, хрипом, бессловесной мольбой.

Захлебнулся отчаяньем.

Отец Игнатий привык к крикам пытуемых, но такое он слышал впервые. Казалось, кричат не в глухих подвалах пыточной, а рядом, за ближайшим поворотом.

– Совсем озверел, – буркнул тюремщик, гремя ключами. –

Пойдемте, святой отец, я провожу вас…

– Что это?

– Их честь Бутлига Хромого допрашивает. Фальшивомонетчика, с Пьяного Двора. Небось, на «резной гроб» велел посадить, голого.

– Он что, не сознается?

– Какое там! Еще вчера во всем признался и молил о пощаде. Дружков с головой выдал…

– Тогда зачем пытка?

Жирный тюремщик криво ухмыльнулся, надув щеки пузырями.

– Он и раньше-то чудил, наш Душка Жодем. Поначалу тихий был, осторожный, а как его главой судейской коллегии выбрали, видать, во вкус вошел. Пытуемый уж и молит, и кается, а он велит: добавить! Дальше – больше: едва вы, святой отец, в Хольне переехали, так он вконец осатанел. Еле хоронить успеваем. Не серчайте, это я вам с глазу на глаз, по совести – вы человек божий, добрый…

Было ясно: ни с кем другим Клаас не станет обсуждать поведение главного судьи даже с глазу на глаз. Просто за истекшие три месяца работы Черным духовником отец Игнатий снискал всеобщее уважение. Спокойный, доброжелательный, он делал свое дело мастерски, рождая раскаянье в душах самых закоренелых грешников. Тайный свет исходил от бенедиктинца, свет человека, не брезгующего окунуться с головой в клоаку, если там можно спасти тонущего щенка. Дважды его приглашали в церковь Св. Павла – читать проповеди. Стечение народа превзошло все ожидания, а когда монах закончил простую, доступную речь словами: «Вот стою я, последний среди вас, надеясь на милость Господа…», – народ разразился слезами и благодарственными кличами, спеша бросить в чашу подаяний монетку-другую. Во время мятежа солдат-наемников никто иной, как отец Игнатий, самолично явился в казармы на Малой Конюшенной, с порога рявкнул медным хайлом: «Встать, сволота! Смир-р-на!» – и без перехода продолжил, кротко глядя на выстроившихся бунтарей: «Я понимаю ваше возмущенье, дети мои! Задержка жалованья – нож в спину солдата. Но не спешите искать виноватых…»

Мятеж угас в зародыше, а пристыженный бургомистр помимо жалованья за два месяца выплатил солдатам надбавку.

– Эх, отец мой, сказал бы я вам еще, да своя рубаха, сами понимаете…

Из-за угла вывернул донельзя рассерженный палач Жиль. Наградил оплеухой семенившего рядом подмастерья, наскоро

кивнул тюремщику с монахом.

– Чего там, Жиль? – вослед крикнул Клаас.

– Чего, чего… Разве можно работать, когда у тебя то кнут из рук силком выдирают, то жаровню?! Пущай тогда деньжат подкинет, за вредность!

– Кто?

– Да кто ж, кроме ихней чести! Бутлиг под кнутом в насилии сознался. Дескать, взял без ейной воли нищенку Катарину, что под ратушей клянчит. Так ихняя честь кнут у меня вырвал и давай сплеча охаживать. Самолично. Глаза горят, весь красный… Потом веник в жаровне поджег. Думаю, помрет Бутлиг-то. Лекарь говорит: сомлел, чуть дышит. Я спрашиваю: до завтрева дотянет? А лекарь кряхтит…

– Вы пробовали подавать жалобу бургомистру? – вмешался отец Игнатий. Он плохо представлял вежливого, изысканного Жодема Лангбарда с кнутом в руках, но не доверять палачу с тюремщиком также не имел оснований.

– Эх, святой отец! Сразу видно: вы у нас гвоздь новенький, острый… Бургомистр ван Дайк за бывшего зятя любого сгноит! Да и за кого заступаться? – за ворюг? За насильников?! Иди, жалуйся, если в башке петухи поют! А у нас семьи, детишки малые…

«Вы играете с огнем, святой отец. Символ „фюльгья“ – заседланный волк, и змеи служат ему удилами…»

Внезапно вспомнив слова мага Марцина, монах удивился причудам собственной памяти. Но следом, пронзив холодом, вдруг явилась цитата из Писания:

«И объяли меня воды до души моей…»

Народа вокруг помоста было мало.

Отец Игнатий еще укорил себя, что плохо думал о жителях Хольне. Полагал: смотреть на казнь соберутся во множестве. Оказалось, редким хольнцам пришло в голову любоваться смертью глупого дезертира Янека, да и те, в основном, явились по долгу службы или случайно проходили мимо. Мелкий дождик плясал на брусчатке. Тучи – рыхлые, обложные – медлили сорваться настоящим ливнем. Поодаль, окруженные слугами с раскрытыми зонтами, скучали бургомистр, два члена магистрата и судейская коллегия во главе с Жодемом Лангбардом. В свинцовых глазках бургомистра плавилось откровенное, высшей пробы желание как можно быстрее покинуть площадь.

Приговоренный каялся.

Он уже давно сознался во всех грехах и выдал сообщников. Правда, последних не удалось взять живыми, но в том не было

Янековой вины. Так, сейчас он попросит прощенья у земляков, потом наклонится вперед, и монах даст бедняге причаститься святых даров.

Белые, сухие губы ткнулись в облатку.

Рука палача Жиля опустилась на костлявое плечо.

Теперь судья Лангбард объявит публично, что раскаяние позволяет даровать казнимому легкую смерть, заменив колесование повешеньем. И через пять минут настанет время идти в тюремную часовню: молиться за грешную душу. Монах сердцем чувствовал: молитва выйдет искренней и светлой, как апрельское утро. Вот главный судья делает шаг вперед – слуга опаздывает протянуть зонт, и капли дождя слезами текут по щекам мейстера Жодема. Словно пытаются смыть яркий, противоестественный румянец, – пытаются и не могут.

– Приступайте!

Палач медлит. Он еще ждет приказа. Другого приказа. Старый мастер заплечных дел, поседевший в пыточной, он не в силах поверить: оглядывается на дощатое колесо, на дубины, на прочие атрибуты колесованья. Подымает глаза на тоскливую петлю, набухшую от воды и разочарования.

Рядом мнутся подмастерья.

Бессмысленно раскачиваясь, стоит на коленях казнимый.

– Я сказал: приступайте!

Скука во взгляде бургомистра ван Дайка сменяется недоумением. Но он молчит. С показным равнодушием. Судья Лангбард лучше знает, что делать. В конце концов, дезертир, грабитель… Подонок общества. А милосердие – прерогатива Господа. Если Ему будет угодно, для Янека откроются врата рая. Один из членов магистрата громко сморкается в платок. По возвращении домой придется выпить горячего вина с пряностями. Иначе простуда обеспечена.

На лицах судейской коллегии – тучных, обрюзгших – одинаковое выражение.

Мне что, больше всех надо?

И – полыхает румянец на щеках главного судьи, мало-помалу захватывая скулы, лоб, нос… Пунцовый лик. Трепещут ноздри. Бьется синяя жилка у виска. Воплощенное торжество. Маска идола над кровавой жертвой.

Ступени скрипнули под ногами.

Отец Игнатий брел, шел, бежал прочь от проклятого помоста, шаркая подошвами сандалий о булыжник мостовой, а ему все казалось: скрип. Дьявольский, насмешливый скрип под ногами. Вниз, вниз, глубже, в самое пекло. Каково в аду?! – посмотреть иду… И ужасней скрипа, ужасней вердикта судьи Лангбарда,

стократ ужасней убитого в зародыше милосердия было другое.

Свет в душе монаха не иссякал.

Напротив – сиял ярче! Еще ярче!

Никогда он не был так близок к Небу, как в эту минуту. Дезертир Янек раскаялся. Вчера они вместе молились в темнице. Вне сырых стен, вне затхлой духоты – в горних высях. Удалось уговорить несчастного выдать преступных сообщников. Бедолага исповедался. Причастился. Все остальное – мишура. Почему мирская грязь должна обременять ушедшего от мира?! Почему?! Если душа поет, и за тучами видны снежно-белые одеянья ангелов, и хоровод кружится…

Счастье билось в висках, мешая думать.

– …вам плохо, святой отец?

«Хуже. Мне хорошо,» – едва не ответил бенедиктинец. Остановившись, долго смотрел на озабоченную тетку, задавшую вопрос. Поставив кошелки наземь, тетка моргала, не понимая. Ничего не понимая. Ничего!

«Вы играете с огнем…»

– Скажи, дочь моя… Где расположен дом некоего Марцина Облаза?

– Мага? У Рыбного канала, отец мой. Там еще две горгульи сидят, махонькие… Вас проводить?

Жилище молодого мага нашлось, как по заказу.

Отец Игнатий втайне удивлялся: свернул от набережной в проулок, и вот он – аккуратный, словно кукольный домик, слегка напоминавший казенное жилье самого монаха. Две горгульи из пористого камня, вместо того, чтобы сидеть под крышей и служить водосточными желобами, почему-то расположились по обе стороны входа. Маленькие твари, клыкастые демоны; грустные привратники. Монах вгляделся. Создавалось впечатление, что между горгульями стоит кривое зеркало: правая тварь – ласковая, милая, левая же статуя – зло во плоти.

Но чем дольше ты смотрел на горгулий, тем больше путался. Левая – зло? Или правая?! Нет, все-таки левая, хотя…

– Я ждал вас.

Появление мага из дверей отец Игнатий прозевал. Марцин Облаз выглядел скверно: кончик носа, а также глаза покраснели, шея укутана теплым шарфом, и поминутный если не кашель, то чих. Сейчас маг выглядел совсем юным и очень несчастным.

– Заходите.

Оказавшись вскоре в крохотном кабинете, монах с удивлением отметил крах ожиданий. Никаких шаров из хрусталя, алхимических реторт и тиглей. Отсутствовали мумии крокодилов

и лже-русалок. Не было карт Таро. Скромная, почти аскетическая обстановка. На столе – «Свод сентенций», раскрытый посередине, и «De praedestinatione et libero arbitrio» Гонория Отенского.

– Изучаю, – правильно понял монаха Марцин. – Иногда требуется. Нам с вами не повезло, святой отец. Это у господина Лангбарда – образование. Это он в состоянии отличить теологию мистическую от схоластической, и их обеих – от теологии канонической. А у нас с вами за плечами лишь война и странствия. Что ж, каждому – свое.

– Зачем вам теология? – хрипло спросил бенедиктинец.

Маг чихнул, смешно зажав пальцами кончик носа, потом, словно желающий вырасти ребенок, потянул себя за уши вверх. С укоризной качнул головой:

– А зачем вам я, мой дорогой пастырь? Впрочем, оставим. Повторяю: я ждал вас. Да перестаньте оглядываться: здесь я живу! А работаю в Западной башне: там вам и крокодилы, и переплеты из кожи девственниц… Горяченького хотите? Ну, как хотите, а я выпью.

И надолго приник к кружке, стоявшей сбоку, на треножнике из бронзы.

– Я…

Отец Игнатий сам не понял, как у него родилось:

– Я научился бояться. Теперь очередь за вами. Рассказывайте.

– Мг-м! – булькнул молодой маг. Откашлялся. – Да я, в сущности, не великий знаток. Мой учитель, увы, умер, когда я был совсем мальчишкой. Потом – война. Не удивляйтесь, отец мой, но при Особлоге мы вполне имели шанс встретиться… Несколько лет странствий. Учился, где получалось. В Гранаде, от мавра аль-Мурали, узнал о существовании «Абд-ан-Кутб», Рабов Полюсов; иначе – Двойников. Наши земляки зовут их Доппельгангерами, северяне – «фюльгья». И от страха сочиняют кучу легенд, затемняющих смысл. Но есть там истинное, более чем явное зерно: встреча двух «фюльгья» лицом к лицу не приводит к хорошим последствиям. Садитесь, святой отец, разговор у нас пойдет долгий…

Судя по дальнейшим словам Марцина, умница-мавр полагал, что всякий человек на земле имеет своего двойника. Речь шла не о внешнем подобии, хотя двойники часто бывали сходны обличьем. Суть крылась в другом: в поступках и чаяниях каждого из удивительной пары было нечто, создававшее странное, неисповедимое равновесие. И посему судьба чаще всего разводила таких людей в разные стороны.

– …никто из мудрецов не заподозрит скрытой связи, если лудильщик Хасан в Багдаде подаст нищему медный дирхем, а

сапожник Густав в Хенинге отвесит тумаков ни в чем не повинному соседу. Но, согласно взглядам аль-Мурали, это вернет в устойчивое состояние весы, о существовании… – нет! – о *смысле* существования которых мы можем лишь догадываться. Маленькое добро и маленькая злоба. Крохотное милосердие и ненависть размером с горчичное зерно. Но гирьки тоже не всегда должны быть огромны! Обычно противоположные качества двойников слабо выражены, хотя случается, что колебания, усиливаясь, достигают опасного размаха. Как в вашем случае, святой отец. Я не уверен, что аль-Мурали прав, и действительно каждый человек имеет двойника, но сейчас трудно ошибиться. Знак вашей связи с судьей Лангбардом мог не заметить только слепой…

Марцин запнулся. Беспомощно развел руками: ну, вы меня понимаете!

– Кто из нас был первый?! – выдохнул отец Игнатий.

– Вы имеете в виду – чьи побужденья и поступки являются главным толчком? Первоосновой?! Вынужден разочаровать вас: выяснить это невозможно. Скорее всего, ваши посылы равноценны. Просто семь лет тому назад капитан наемников Альберт Скулле решил обратить взор к небу, найдя душевный покой в молитве и творя добро, – а милейший господин Лангбард, отворачивавшийся, когда ему доводилось проходить мимо мясных рядов, вдруг стал суровым судьей, получающим удовольствие от пыток. Вам нельзя находиться рядом, святой отец. Наверняка вы оба испытываете друг к другу искреннюю симпатию. Но размах маятника увеличивается. На весы падают все более тяжелые гири. Не сомневаюсь, что вы сумеете сделать много добрых дел. Просто любое из них отзовется жаровней и кнутом в пыточной мейстера Жодема. Становясь святым, вы делаете его дьяволом. Становясь дьяволом, он делает вас святым.

Монах шагнул вперед и схватил мага за одежду. В лице бенедиктинца проступил солдат: подписывающийся крестом, но способный на молниеносные решения.

– Как мне жить с этим?!

– Не знаю, – честно ответил Марцин Облаз.

– Кто?! Кто виноват?!

Маг пожал узкими плечами:

– Это ведь вы монах, отец Игнатий. Вы, не я. Вам лучше знать, кто виноват…

И надолго закашлялся, видя, как солдат вновь уступает место монаху.

Этой ночью отец Игнатий спал плохо. Нельзя сказать, что кошмары мучили, – просто ворочался с боку на бок, проваливаясь

в мутную дрему, выныривая в объятия тоскливой бессонницы. Позже все-таки забылся, увидел сон: глупый, незапоминающийся, но пугающий, как состояние души, в котором монах пребывал весь вечер.

Хоровод.

Кажется, он кружился в хороводе, обнимая каменную горгулью, но…

…проснулся от тихого поскуливания. За окном едва-едва начало сереть, по улице ползли влажные пряди тумана. Монах зябко поежился, слезая с кровати. Бродячий пес приблудился? Подкидыша оставили у дверей?!

Это был не пес и не подкидыш. На кухне, бессильно привалившись к печи и зажимая себе рот ладонью, рыдала Клара. Еще недавно пышное, сейчас тело женщины выглядело мешком с мокрым зерном. Кухарка очень старалась не шуметь, чтобы не разбудить бенедиктинца, но, как оказалось, тщетно.

– Что случилось, Клара? Вас кто-то обидел?

– Труди, девочка моя!.. звездочка… – выдавила женщина сквозь рыдания, страдальчески морщась.

– Заболела?!

– Нет! Ведьма, говорят! В тюрьму забрали… Донос, клевета!..

И вдруг упала в ноги монаху:

– Спасите ее, святой отец! Невинная она, честная! Спасите, вы можете!

– Встань, дочь моя, – слова давались отцу Игнатию с трудом. – Не на людей уповать надо – на Господа. Если дочь твоя чиста пред Небом…

Он не верил сам себе. Сказанное оборачивалось мерзкой ложью – даже не во спасение, а так, во имя мертвых канонов. Зато привычное умиротворенье, искренняя вера в Божий промысел, возникшие сразу, выглядели и вовсе кощунством. Зачем понадобилось обвинять в ведьмовстве тихую мышку Гертруду?! А впрочем… Ведьма в услужении у казенного священника? Видимо, кому-то в Хольне пришлись не по нраву толки о праведности скромного бенедиктинца. Возревновали. Опорочить легко, отмыться куда труднее. Ясно представилось: мышка Труди в застенках, он, Черный духовник, молится вместе с ней о спасении, рождая восторг, чистосердечие, открывая голубизну неба за тучами, уверенность в милосердии Господа…

Обратная сторона медали: лицо мейстера Жодема. Лик идола над жертвой.

«Становясь святым, вы делаете его дьяволом.»

Отец Игнатий почувствовал, как давно умерший Альберт Скулле возвращается из преисподней.

– Когда начнутся допросы?!

Клара сперва вновь забилась в истерике, но наткнулась на жесткий, бесцветный взгляд монаха, и подавилась всхлипом.

– За… завтра утром. Господин Лангбард, самолично…

– Время еще есть, – отца Игнатия не удивило, что кухарке известен срок начала допросов и имя судьи, ведущего дело дочери. Небось, кинулась следом, в тюрьму, вымолила-выспросила, что смогла. – Клара, слушай меня внимательно. Я попробую помочь. Ничего не обещаю, но попытаюсь. Для этого мне, возможно, придется отлучиться дня на три-четыре. Молись за свою дочь и верь в справедливость Небес. Господь не допустит страдания невинных! И будь я проклят, если…

– Святой! Святой, праведник! – шептала женщина вслед, когда монах вскорости сбежал с крыльца и исчез в тумане.

Надежда во взгляде кухарки умывалась слезами.

Рейтар Пауль Астерсон вразвалочку шел по Горшечному въезду. Паулю было хорошо. Во-первых, ему вчера выдали жалованье, и большую часть он еще не успел пропить. Ишь, бренчит в кошеле! Во-вторых, с утра пораньше удалось сполоснуть душу кувшинчиком славного винца, и теперь рейтар предвкушал целую вереницу таких кувшинчиков. Дайте только добраться до заведенья Бритого Юстаса! В-третьих, на горизонте маячили ласки грудастой Амелии из дома терпимости средней руки, что в квартале Красных Фонарщиков. К девицам Пауль не заглядывал давненько – все служба, будь она неладна! – но теперь рассчитывал разом наверстать упущенное. А еще он наконец получил возможность снять опостылевший доспех и шлем. Он даже вымылся, если опрокинутое на голову ведро воды можно назвать умыванием, переодевшись в купленный по дешевке камзол и новые штаны с бантиками, хранившиеся как раз для гульбы. Впрочем, оставив обычную шпагу, Пауль привесил к левому боку тесак, широкий и тяжелый, – с тесаком мужчина смотрится много солиднее; впридачу вид оружия чудесно охлаждает пыл всякого отребья, в чем Паулю приходилось убеждаться неоднократно.

Короче, жизнь была прекрасной, обещая улучшаться с каждой минутой.

– Тысяча чертей!

Когда из тумана возник призрак в развевающемся саване, рейтар шарахнулся было прочь, но вовремя опознал в привидении – живого монаха. Крепкое словцо само собой сорвалось с губ Пауля, и монах остановился, неодобрительно глядя на сквернослова. Рейтар смутился и, дабы загладить промах, спешно

пробормотал:

– Прошу прощенья, отче! Благословите меня, грешного…

– Благословляю, – кивнул монах, поднимая руку для крестного знамения. – Ложись и больше не греши.

В следующий миг из глаз у Пауля брызнули искры, а земля встала дыбом, норовя ускакать в пекло.

– Ах, ты…

Он задохнулся от второго удара, пришедшегося под ложечку. Подлец-монах бил мастерски – впору обзавидоваться! Уже ничего не соображая от боли и обиды, Пауль схватился за тесак, но руку сжали тиски, а в голове зажглось черное солнце. Когда рейтара, избитого и почти голого, найдет в переулке горшечник из соседнего дома, и бедняга наконец очухается, – он станет уверять, что его ограбил Бледный Монах, который, как известно, шляется ночами по улицам Хольне.

Ясное дело, никто ему не поверит.

Ну зачем Бледному Монаху штаны с бантиками?

Отец Игнатий деловито натягивал на себя чужую одежду. Наряд пах прошлым. Чуть великоват? – пустяки. Подобрать здесь и здесь, туже затянуть пояс… Взятая из дому котомка оказалась кстати: в ней мигом исчезли ряса и сандалии. Преобразившийся монах сунул в ножны оброненный тесак, оценивающе взвесил на руке кошель с монетами; заглянув внутрь, хмыкнул с удовлетворением. И решительно направился именно туда, куда раньше следовал неудачник-Пауль, – в сторону квартала Красных Фонарщиков.

Он не задумывался о том, что делает. Время размышлений кончилось. Настало время действия.

Шествующие рука об руку грех и добродетель. Безумный хоровод, в центре которого он, Альберт Скулле… нет, не Альберт – отец Игнатий; или круг замкнулся? Не важно! Важно другое: хоровод прежний, он никуда не делся. Пышет пламенем адской страсти лицо судьи Лангбарда; неземное вдохновение поет в молитве, обращенной к небесам; крики пытуемого под бичом; светлые слезы раскаяния в глазах заключенного, и – тихая радость в сердце: его душа спасена! Грех и добродетель, добродетель и грех…

«Делай, что должен, и будь, что будет.»

Время, последовавшее за ограблением рейтара, он запомнил плохо. Все слилось в сплошную круговерть, откуда лишь изредка, яркими вспышками, высвечивалось: стук катящихся по столу костей, звон монет, кто-то горячо дышит в ухо, разя чесноком и перегаром; булькает разливаемое по кружкам вино, зубы

вгрызаются в жесткую, успевшую остыть баранину; нищий орет похабную песню, зеваки вокруг хохочут, на колени падает визжащая девица, она изрядно пьяна и сразу лезет целоваться; под руками – женское тело, горячее, податливое, ладони нащупывают упругие округлости грудей; стонущий шепот: «Ну ты жеребец!.. жеребец…»; саднят костяшки пальцев, содранные о чьи-то зубы, на полу – пятна крови, тело утаскивают прочь; и снова – хохот, визг, вино льется рекой…

Он очнулся через три дня. На рассвете. И почувствовал: конец. Кураж ушел, карусель остановилась, пьяный угар неумолимо рассеивался вместе с зябким туманом. Пора возвращаться. Монах ощущал усталость пахаря, закончившего тяжелый, но необходимый труд, – какой бы безумной и кощунственной эта мысль ни казалась. Он не испытывал раскаяния, и это пугало его. Может быть, только *пока* не испытывал?

Кто знает?

Котомка с рясой и сандалиями обнаружилась под лавкой. Быстро переодевшись в пустом переулке и зашвырнув одежду рейтара через ближайший забор, отец Игнатий направился домой.

– Труди, золотце, беги скорей! Святой отец вернулся! В ножки, в ножки кланяйся! Когда б не он, не его молитвы…

Девица упала перед монахом на колени, норовя поцеловать краешек рясы.

– Перестань, Гертруда. Поднимись. Тебя отпустили?

– На вас наше упование, отец Игнатий, святой вы человек! – затараторила кухарка, пунцовая от счастья. – Уж и спрашивать зарекусь, где были, с кем говорили! Сама вижу, лица на вас нет, небось, постились да схимничали, чтоб молитва веселей к Небу бежала! А я вам вкусненького наварила, садитесь скорее, кушайте на здоровьице…

К вечеру, зайдя в городскую тюрьму, бенедиктинец узнал у палача Жиля, как повернулось дело. Судья Лангбард, придя на первый допрос, против обыкновения не возбудился, сидел скучный, молчал; едва девице пригрозили плетями, – поначалу больше для острастки! – вдруг скривился, велел прекратить и вместо продолжения допроса отправил двух стражников за доносчиком. К полудню того доставили, но Лангбард отдал приказ вначале бросить прохвоста в темницу: пускай, значит, переночует по холодку. На следующий день судья вплотную занялся уже не «ведьмой», а нагловатым рыжим детиной по имени Тьяден, обвинившим Гертруду в колдовстве и наведении порчи. Поначалу детина твердил, словно по-заученному: дескать,

видел в окошко, как Гертруда варила сатанинское зелье, слышал «чертовы слова», а соседка Матильда из-за нее, гадины, дитя скинула, а еще…

Судья слушал в пол-уха, явно не веря ни единому слову.

Потом, прервав болтовню доносчика, велел Жилю продемонстрировать детине весь палаческий инструмент: от простого кнута до «резного гроба» и ушной воронки. Подробно рассказав о назначении каждой штуковины. Когда Жиль закончил экскурс, мейстер Жодем радушно спросил совета у белого, как мел, Тьядена: с чего, мол, лучше начать? Детина же в ответ решил начать с чистосердечного раскаяния.

Гертруда? – знать не знаю, и видел-то всего раза два-три. Издали. А возвести на девицу напраслину подговорил его, Тьядена, один незнакомец, с виду торгаш, – не задаром, ясен день, а за горсть полновесных талеров. После десятка плетей (судья ограничился поркой, но детине хватило с избытком) выяснилось, что «незнакомец» Тьядену не столь уж и незнаком. Парень частенько видел его в качестве служки собора Св. Фомы. Так что подозрения отца Игнатия полностью оправдались.

Как ни странно, доносчика Тьядена судья отпустил без приговора или членовредительства. Только строго наказал передать «незнакомцу» из собора, что если он и его сообщники еще раз попытаются строить козни, то вся эта грязная история мигом выплывет наружу, дойдя до Папской курии, и тогда никому снисхождения ждать не придется, невзирая на сан и сословие.

А Гертруду проводили домой, к матери.

Теперь отец Игнатий знал наверняка: молодой маг оказался прав.

«Что он читал, перед моим приходом? Что?! Гонорий Отенский, „De praedestinatione… et libero arbitrio“? – монах напряг все свое малое знание латыни. Перевод дался на удивление легко, словно некто нашептывал в уши значение чужих слов. – „О предопределении и свободе воли“! О предопределении… о свободе…»

Он решился к вечеру. Да и без толку идти к судье Лангбарду с утра: ранние часы судья обычно проводил на допросах, позже шел в магистрат и освобождался довольно поздно.

Сам отец Игнатий также не мог пренебречь своими обязанностями, особенно после трехдневного перерыва: он исповедовал заключенных, молился в тюремной часовне, преисполняясь знакомым чувством радости, чистоты и нисхождения божественного света, наполнявшего сердце до

краев. Душа пела. Душа рвалась ввысь, в небеса, ей было тесно на грешной земле, в грешном теле бывшего наемника. Но рука об руку со светом шла тьма; рядом с хмелем – отрезвленье. Хоровод длился. Монах вспоминал, что сейчас, когда узники испытывают раскаянье, а он отпускает им грехи, искренне радуясь новому рабу Божьему, вставшему на путь Спасения, – в это самое время лицо Жодема Лангбарда загорается безумьем гнева, судья вырывает кнут у палача и, изрыгая проклятия, в неистовстве хлещет очередную жертву, или сует веник в огонь жаровни…

Надо хотя бы попытаться. Да, глупо, да, нелепо, да, шансов практически нет. Триста раз «да», и каждое подтвержденье тяжелей тверди земной. Но оставь монах все, как есть, и ему больше не видать душевного покоя.

Возможно, он бы смог понять. Но принять – никогда.

Слуга, как обычно, был безукоризненно вежлив.

– Прошу, святой отец. Господин Лангбард ждет вас.

«Удивительно. Я ведь не предупреждал его о своем визите. В окно увидел?»

Судья ждал в кабинете. Скосил налитый кровью глаз, без обычного дружелюбия. Слуга вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

– Добрый вечер, мейстер Жодем.

– Добрый… – буркнул судья, отворачиваясь от гостя.

– У меня есть к вам разговор. Очень важный, хотя он и может показаться весьма странным.

Лангбард молчал, однако весь вид его ясно выражал: «Ну?» Сесть он отцу Игнатию не предложил. Бенедиктинец постарался успокоиться. От вескости и убедительности доводов будет зависеть многое.

– Начну без долгих околичностей. Между мной и вами, мейстер Жодем, существует связь. Если хотите – связь мистическая, хоть и не пристало служителю Господа впадать в грех суеверия. Тем не менее…

И тут судья Лангбард наконец повернулся к монаху. Саркастически изломал бровь – однако под маской сарказма в лице судьи помимо воли проступало скрытое, загнанное в самый дальний уголок души страдание.

– Вы надеялись сообщить мне нечто новое, святой отец? В таком случае – извините. Марцин Облаз имел со мной увлекательную беседу еще в день вашего приезда. Вчера я посетил мага снова. Мы говорили о двойниках: Доппельгангерах или фю… фью… Короче, неважно. Видите, я упростил вашу задачу: расчитывая на мое изумление, вы заблуждались. Я долго думал, анализировал все, происшедшее со мной в последние

годы, после памятного видения, тщательно изучал перемены, последовавшие за вашим визитом в Хольне. И пришел к выводу: господин маг прав. Связь между нами несомненна. Мы с вами антиподы, как это ни прискорбно. И что дальше? Может быть, вы нашли выход из ситуации? Давайте, премудрый пастырь! Наставьте меня, неразумного, на путь истинный! Ну же, святоша! Валяй!

Судья с трудом сдерживал клокочущий в нем гнев. Лицо мейстера Жодема быстро наливалось дурной кровью. Похоже, ему стоило изрядных усилий не разразиться проклятиями и не наброситься на монаха с кулаками. Но сила воли этого человека была стальной: он держался, оставаясь почти в рамках приличий. А на отца Игнатия, напротив, снизошло спокойствие. Судья все знает. Что ж, тем лучше. Убеждения оказались излишни. Можно сразу перейти к делу. Вдвоем они наверняка найдут выход! Если судью не устроит то, что предложит ему скромный инок, отец Игнатий с удовольствием выслушает ответные предложения Лангбарда.

Но сначала…

– Выслушайте меня, мейстер Жодем. Откажитесь от должности главы судейской коллегии. Вернитесь в магистрат. Займитесь научными изысканиями… Или вообще удалитесь от мира, как это в свое время сделал я.

– И это говорите мне вы? Вы, кто сломал всю мою жизнь, кто губит мою бессмертную душу?! Да, да, отец Игнатий! Вы! Вы спасаете души убийц, насильников, грабителей, – но хоть раз, один-единственный раз вы подумали о душе Жодема Лангбарда?! Ведь я родился другим человеком! Тихим, добропорядочным обывателем… Я подавал милостыню нищим, ходил в церковь, служил родному городу и искренне шел навстречу людям, чьи прошения и жалобы мне приходилось рассматривать. Поднять руку на живое существо? – да я не выносил вида крови, насилие было омерзительно для меня!.. Это вы, вы, святой отец, сделали судью Лангбарда чудовищем! Вы и ваша набожность, будьте вы прокляты! Теперь я получаю удовольствие от человеческих страданий, я иду прямой дорогой в ад, – и этот ад, мой личный ад, вы строите вашим гнусным благочестием! После этого у вас хватает наглости…

– Откажитесь от должности. И вам не придется больше присутствовать при пытках и казнях, – оторопев от натиска, монах чувствовал, что теряет былую убежденность. – Да, возможно, я виноват перед вами. Но если вы предпримете попытку вернуться на путь добра и состраданья…

– Да что ты понимаешь в сострадании, чертов святоша?! –

судья уже кричал. Он метался по кабинету, как запертый в клетку зверь. – Пытки, казни! Ты хоть знаешь, каких усилий мне стоит не броситься на очередного подследственного, чтобы своими руками – вот этими руками! – разорвать его на куски, испытывая мучительное наслаждение от чужой боли! Тебе не понять горькой сладости, не вдохнуть мерзкого, чарующего дурмана! Да если я последую твоему дурацкому совету, ничего ведь не изменится! Ни-че-го!!! Сейчас я хотя бы истязаю подонков, отбросы общества, а что будет тогда? Ведь эта адская страсть: получать удовольствие от чужих мучений – она никуда не исчезнет! Я окончательно превращусь в сатану! Стану терзать и убивать невинных… Ты этого хочешь, искуситель?! Этого?!! Признайся! Кто из нас чудовище – ты или я?!

– Постойте! Погодите! – монах был растерян, но растерянность странным образом сочеталась с благостным умиротворением, все более овладевавшим душой отца Игнатия, по мере того, как судью все более охватывали ярость и гнев. – Если искус в вас столь силен, примите схиму, уйдите в отшельники. Живя в одиночестве и замаливая грехи, вы никому не сможете навредить…

– А что будете в это время делать вы, святой отец?! По-прежнему молиться? Исповедовать страждущих? Идти по дороге в Рай? Отлично! А некий отшельник станет выслеживать в лесу одиноких путников, чтобы забить их до смерти? Резать глотки добрым людям, принесшим ему кусок хлеба?! Если вы так уж печетесь о ближних, если вы сама добродетель во плоти, почему бы вам – вам, святой отец! – не сложить с себя сан и не вернуться к прежнему ремеслу?! Станьте вновь наемником, и вы сделаете меня счастливейшим из смертных!

Монах пошатнулся, словно от удара в грудь.

– Я не могу этого сделать, сын мой. Я не в силах нарушить обеты, данные не людям – Всевышнему. Успокойтесь. Давайте поищем другой выход. Уверен: вместе мы сможем…

Однако спокойные, умиротворяющие слова произвели на судью прямо обратное действие.

– Конечно! Едва речь зашла о вашей драгоценной святости, как вы поспешили удрать в кусты! – лицо мейстера Жодема было темно-багровым, судья хрипел и ревел, брызгая слюной; казалось, его вот-вот хватит удар. – Другой выход, говорите?! Он у меня есть! Очень простой выход! Отправляйся на свои небеса, фарисей!

Звериным прыжком судья оказался вплотную к отцу Игнатию и вцепился тому в горло. В глазах у монаха потемнело, закружилась голова, – но тело, привычное к бою тело капитана Альберта Скулле, дорожило жизнью куда больше потрясенного

рассудка. Колено впечаталось судье в пах. Лангбард истошно взвыл, однако даже после этого монаху потребовалось немало усилий, чтобы оторвать от себя цепкие пальцы безумца. С грохотом судья рухнул на ковер, опрокинув кресло. На лестнице слышался топот ног, – и тело, опережая доводы разума, решилось. Окно располагалось рядом. Второй этаж? Пустяки! Бывало, прыгали со стен и повыше. Однако, когда монах уже распахивал створки, взбираясь на подоконник, сзади на него вновь набросился очнувшийся судья. Обхватил, вцепился намертво, бодая головой в поясницу. Монах вслепую ударил локтем, еще раз, затем рванулся что было сил…

Они рухнули в окно оба – монах и судья, так и не выпустивший жертву. Когда подоспевшие слуги опасливо выглянули наружу, Жодем Лангбард с трудом поднимался на ноги. Монах остался лежать на земле, неестественно вывернув голову, – словно хотел напоследок взглянуть в усыпанное звездами небо, вслед отлетавшей душе.

У него была сломана шея.

Отец Игнатий умер.

* * *

– Как – умер?!

– Вы разочаровываете меня, молодой человек, – монах грузно встал с табурета. – Вам неизвестно, как обычно умирают люди?

– Но…

– Умер-шмумер, лишь бы был здоров! – встрял от дверей вернувшийся корчмарь Элия, но быстро сообразил, что здесь обойдутся без него, и выскочил обратно на двор. Через секунду послышалась его брань: младший сын Элии слишком долго возился с мулами преподобных отцов.

Монах улыбнулся своей странной, *недоразвитой* улыбкой:

– В сущности, этот авраамит прав. Лишь бы был здоров…

Петер Сьлядек смотрел, как бенедиктинец идет к выходу: медленно, тяжко ступая на половицы. Удивительный рассказ занозой сидел в памяти, желая завершения или освобождения. Но бродяга понимал: не будет ни того, ни другого. Вот он уходит, человек, который мгновеньем раньше сказал про себя: «Я умер». Уходит навсегда, как если бы действительно уходил в смерть. Больше мы никогда не встретимся. Левая рука – правою, ложь у двойника – правдою…

На пороге монах обернулся.

– Hoc erat in fatis, – отчетливо произнес он, прежде чем уйти

окончательно.

Петер не понял смысла сказанного, но случай был наготове, спеша помочь.

– Так было суждено, – сообщили с верха лестницы. – Это латынь, сын мой. Так было суждено. Отец Игнатий, будьте добры, обождите меня снаружи.

Монах кивнул и вышел, закрыв дверь.

Аббат Ремедий спускался осторожно, держась за перила. Старость одолевала, подтачивая телесные силы. Ноги, особенно по утрам, плохо слушались хозяина, а предстоял еще долгий путь в седле. Но походка аббата отличалась от походки только что скрывшегося монаха, как простая аккуратность пожилого, болезненного человека от шага голема из глины.

С одной оговоркой: человек двигался к завершению жизни, а голем – оживал.

– Отец Игнатий? – Петер встрепенулся, забыв о приличиях и собственной стеснительности, обычно проявлявшейся в самый неподходящий момент. – Ну правильно, это отец Игнатий! Почему он сказал: умер?!

– Я благодарен вам, сын мой, – остановясь передохнуть на середине лестницы, аббат Ремедий внимательно оглядел молодого человека с головы до ног. – Не знаю, какой вы певец, ибо ничего не смыслю в светских забавах, но слушать вы умеете замечательно. Вам удалось то, что не удавалось мне в течение двух лет. Мне он исповедовался, а с вами – разговорился. Это разные вещи, да простит меня Господь… Вы правы: это отец Игнатий, но в миру его звали отнюдь не Альбертом Скулле.

Солнце пробилось в узкое окошко, бросив сияющий нимб к ногам аббата. Словно ангел распластался на ступенях, помогая старику идти.

– Его звали Жодем Лангбард. Глава судейской коллегии Хольне. Здесь нет никакой тайны, поэтому я могу быть с вами откровенным, сын мой… Это Жодем Лангбард, и я отнюдь не уверен, что все, им рассказанное – правда, а не плод больного воображения. Он пришел в обитель спустя полгода после гибели *первого* отца Игнатия, но можно представить, что с ним творилось перед этим…

Табурет слегка скрипнул под аббатом. Совсем иначе, чем под массивным телом бывшего судьи. Этот скрип был тихим, покорным, предупредительным, – словно воробьиное перышко опустилось на доски, и те внезапно решили приветствовать гостя.

– Знаете, сын мой, он напоминал скорее статую, нежели человека. Не ощущал вкуса пищи. Перестал различать запахи. Плохо видел, причем путал красное с зеленым, а синее – с

желтым. Подозреваю, для него вообще остались лишь черный да белый… Братия пела псалмы – он был лишен возможности хотя бы подпеть, ибо утратил способность различать звуки высокие и низкие. Не чувствовал боли. Нам приходилось следить: он мог поранить руку и оставить рану, как есть. Порез начинал гноиться, он же относился к этому с равнодушием истукана! Смех, плач, гнев закончились для бедняги. Тонкая, образованная личность, человек слова (это правда, что, соблюдая клятву, он женился на помешанной Белинде ван Дайк!), Жодем Лангбард утратил практически все чувства, и рассудок его бился в агонии, заключенный в мертвую темницу плоти. Я согласился на монашество бедняги. Мне казалось, это единственный способ если не спасти гибнущую душу, то хотя бы помочь ему остаться в живых. Обитель способна дать надлежащий уход несчастному брату. Разумеется, в его историю плохо верилось, – зато хорошо верилось в раскаянье и желание отринуть мирскую пагубу. Я часто повторял ему: «Sileto et spera!» Ах да, вы же не знаете латыни…

– Молчи и надейся! – ввернул от дверей возникший корчмарь. – Святой отец, ваши мулы готовы… Ой, зачем вы так сильно моргаете на бедного Элию?! Ну да, бедный Элия таки знает вашу латынь. У него был умный папа, который говорил: "Ученье – свет, сынок, но если в кармане звенит *гелт*, то можно купить свечку!" И скажу вам, что «Молчи и надейся!» – самый авраамитский девиз. Все, все, ухожу…

Аббат Ремедий встал.

– Мне пора. Когда корчмари начинают говорить на латыни, аббатам время уходить. И напоследок, сын мой… Бывший Жодем Лангбард, теперь отец Игнатий, едет в Хольне. Чтобы принять должность Черного духовника. Он сам выбрал свою стезю, а я решил не мешать. В последний год он начал просыпаться. Ощутил вкус, стал различать цвета. Испытал хотя бы огрызки чувств. Но главное: он нашел себя в молитве. Многие миряне, поговорив с ним, начинали испытывать сильнейшее желание исповедаться и покаяться. В обитель стекались богомольцы: хоть краешком глаза взглянуть на святого. Мне приходилось укрощать его страсть к постам и бичеванию: когда человек далек от боли и вкуса, аскетизм способен убить. Завтра мы будем в Хольне, и я уповаю на Бога в Его милосердии. Знаете, ведь он путает себя и *того*, умершего… Иногда ему чудится, что нынешний отец Игнатий – это капитан Альберт Скулле и судья Жодем Лангбард в одном лице. Я пытался разубедить его, но и сам теряюсь в догадках: откуда бывший судья может так досконально знать прошлое покойного?! Неисповедимы пути Господни, и не мне,

грешному…

На пороге аббат Ремедий обернулся, как незадолго до него поступил отец Игнатий.

– Когда в нем стали вновь пробуждаться чувства, сын мой, я сказал ему: «Господь милостив. Он простил тебя…» Знаете, что он мне ответил? «Возможно, отец мой. Но я допускаю еще одну причину. Что, если где-то у меня родился новый двойник?! И сейчас, когда я молюсь со всей страстью искренне верующего, этот ребенок мучит кошек?!» Я не нашелся, что ему ответить…

Хлопнула дверь.

Оставшись один, Петер Сьлядек долго смотрел в стену. Солнечный нимб сполз с лестницы к ногам бродяги. Потерся о сбитые в пути сапоги. Стал бы я сочинять стихи дальше, думал Петер, зная, что где-то, далеко или близко, мой двойник коснеет в тупой обыденности лишь потому, что некий бродяга испытывает приступ вдохновения?! Накормил бы голодного пса, понимая, что там, в бесконечности дорог, кто-то для равновесия избивает усталую клячу? Стал бы «пан шпильман» петь, убедившись, что его песня – плод закостенения чужой души?! Гирька на недоступных пониманию весах?! Я не учил латынь, мне трудно найти разумный и убедительный ответ. Кроме единственного, рожденного не рассудком, но сердцем, потому что рассудок – хромой поводырь.

– Да, «пан шпильман» стал бы петь, – сказал вслух Петер Сьлядек. – Все равно стал бы. Делай, что должен, и будь, что будет.

– Ой, счастье какое! – заорал вошедший корчмарь Элия, дергая себя за бороду. – Ой, праздник! Так я бегу за дударем?

Круг солнца добрался до дремлющей лютни.

Сквозняк, метнувшись следом, легко тронул струны.

– …в зеркале глаза – разные.
Позже ли сказать?
Сразу ли?!
Словом или фразою,
Мелом или краскою?
Сострадаю?!
Нет! —
праздную…

Петер улыбнулся.

Вслушиваясь в заключительный аккорд «Баллады двойников».

– Нежнее плети я,
Дешевле грязи я —
В канун столетия
Доверься празднику.

– Милее бархата,
Сильней железа я —
Душой распахнутой
Доверься лезвию.

…Левая рука – правою,
Ложь у двойника – правдою,
Исключенье – правилом,
Лакомство – отравою.
Огорчаю?
Нет! —
радую…

– Червонней злата я,
Из грязи вышедши —
В сетях проклятия
Доверься высшему.

– Святой, я по морю
Шел, аки по суху —
Скитаясь по миру,
Доверься посоху.

…Правая рука – левою,
Шлюха станет королевою.
Трясогузка – лебедью,
Бедность – нивой хлебною.
Отступаю?
Нет! —
следую…

– Возьму по совести,
Воздам по вере я,
На сворке псов вести —
Удел доверия.

– Открыта дверь, за ней —

Угрюмый сад камней.
Мой раб, доверься мне!
Не доверяйся мне…

…в зеркале глаза – разные.
Позже ли сказать?
Сразу ли?!
Словом или фразою,
Мелом или краскою?
Сострадаю?!
Нет! —
праздную…